

Няня из Москвы

Автор:

Иван Шмелев

Няня из Москвы

Иван Сергеевич Шмелев

Классика русской духовной прозы

«Няня из Москвы» – роман «зрелого» периода творчества известного русского писателя-эмигранта Ивана Сергеевича Шмелева. Книга была создана в начале 1930-х годов, после отъезда писателя из России, потери родины и единственного горячо любимого им сына. Как сохранить дом, семью и внутренний мир, когда внешний мир вокруг разрушается? Этот вопрос становится одним из главных в романе. Образ простой русской няни оказывается спасительным в мире, где изживаются традиции, а души людей все больше опустошаются.

Иван Шмелев

Няня из Москвы

Предисловие

И. С. Шмелев (1873–1956) прожил длинную, трудную жизнь. Потерял горячо любимого сына, который был расстрелян во время красного террора в Крыму. Потерял и свою родину, покинув Россию, где всё напоминало ему об этой трагедии. Живя в эмиграции, И. С. Шмелев пытается восстановить в своем творчестве историческое пространство России, но перед этим он «восстанавливает» свою собственную душу, свою утраченную целостность.

Преодоление хаоса внутри себя и обретение общей национальной памяти – таков духовный контекст романа Шмелева «Няня из Москвы» (1932–1933, Париж).

Родился Шмелев в Москве, в небогатой купеческой семье, учился в гимназии, потом – в Московском университете на юридическом факультете. В 1895 году женился, и вскоре родился его сын Сергей.

1919–1922 годы – самое страшное время для Шмелева. Сергея расстреливают в Крымских подвалах ЧК как участника Добровольческой армии.

«Воскресение» Шмелева наступает только в эмиграции, и «Няня из Москвы» – одно из свидетельств этому. Само название романа отсылает нас к пушкинской Арине Родионовне, к образу русской няни, хранящей теплоту домашнего очага и традиционный уклад жизни.

«Няня из Москвы» не может главенствовать в семье Глафиры, Константина и их дочери – избалованной Катички. Молясь за всех по ночам, няня сохраняет истинное тепло любви в этой полураспавшейся семье.

В романе борются две стихии – стихия хаоса (хаос революционных лет и разрушающейся семьи) и противостоящая ей сила созидания и гармонии. Победить разрушение поможет она, необразованная, но освящающая все любовью – старенькая няня Дарья Степановна. Созидание после душевной, духовной и государственной разрухи возможно – пока существуют «няни из Москвы», которых не учили жить «для саморазвития», но которым была дана способность смиренно создавать святость обыденности и целомудрие домашнего очага.

Татьяна Радомская

..А вот и нашла, добрые люди указали, записочка ваша довела. Да хорошо – то как у вас, барыня, – и тихо, и привольно, будто опять у себя в Москве живете. Ну, как не помнить, с Катичкой еще все к вам ходили, играть ее приводила к Ниночке. Покорно благодарю, что уж вам беспокоиться, я попить чайку поехала. И самоварчик у вас, смотреть приятно. Вспомнишь-то, Господи... и куда девалось! Бывало, приведу Катичку... – дом у вас чисто дворец был, – они с лопаточками в саду, снежок копают, а меня экономят к а ваша... носастенькая такая у вас жила, – Аграфена Семеновна, ай Агафья Семеновна?... – чайком, бывало, попоит с рябиновым вареньем, а то из китайских яблочков, – любила я из китайских. Тут их что-то и не видать... – воды им, что ль, тут нет, и в Америке этой не видала. А как же, и там я побывала... И где я не побывала, сказать только не сумею. И терраска у вас, и лужайка... березок вот только нет. Сад у вас, правда, побольше был, не сравнить, как парки... грибок раз белый нашла, хоть и Москва. Помню-то? Пустяки вот помню, а нужного чего и забудешь, голова уж не та, все путаю. Елка, помню, у вас росла, бо-льшая... барин лампочки еще на ней зажигали на Рождестве, и бутылочки все висели, а мы в окошечки любовались, под музыку. И всем какие подарки были!.. И все – как во сне словно.

А вы, барыня, не отчаивайтесь, зачем так... какие же вы нищие! Живете слава Богу, и барин все-таки при занятии, лавочку завели... все лучше, чем подначальный какой. Известно, скучно после своих делов, ворочали-то как... а надо Бога благодарить. Под мостами, вон, говорят, ночуют... А где я живу-то, генерал один... у француза на побегушках служит! А вы все-таки при себе живете. И до радости, может, доживете, не такие уж вы старые. Сорок седьмой... а я – больше вам, думала. Ну, не то, чтобы постарели, а... погрузнели. В церкви как увидала – не узнала и не узнала... маленько словно постарели. Горе-то одного рака красит.

А уж красивые вы были, барыня... ну, прямо купидомчик, залюбуешься. Живые, веселые такие, а как бриллианты наденете, и тут, и тут, и на волосах, – ну, чисто царевна-королевна! Нет, не то чтобы подурнели, вы и теперь красивые, а... годы-то красоты не прибавляют, до кого ни доведись. Барин-покойник скажут, бывало, про вас Глафире Алексеевне, – «уж как я расположен к Медынке с Ордынки!» – так вся и побелеет, истинный Бог. Ну, понятно, ревновала. А как и не ревновать... сокол-то какой был, и веселый, и обходительный, и занятие их такое, при женском поле все, доктор женский! Только, бывало, и звонят, только и звонят, – прахтика ведь у них была большая. И это случилось, вздорились, и меня в ихние разговоры путали, Глафира-то Алексеевна. Я еще до Катички у них жила, от мамы с ними перешла, в приданое словно, – уж как за свою и считали. А помирал когда барин, – Глафира Алексеевна... это уж в Крыму было...

Ну, что покойников ворошить, Царство Небесное, Господь с ними.

И малинку сами варили, барыня? Мастерницы вы стали, обучились, – ягодка к ягодке, наливные все. А то и не доходили ни до чего. А чего и доходить, прислуги полон дом был. И дома редко бывали, гости вот когда разве, а то театры, а то балы... Ниночку замуж выдали... так, так. Письмецо Катичка читала, в Америке этой получили. Да маленько словно порасстроилась, попеняла, – «все вон судьбу нашли, одна я непритычная такая, мыкаюсь с тобой, с дурой...» Да нет, любит она меня, а это уж так. Не ей бы говорить, отбою от женихов не было, так хвостом и ходили, и посе́йчас все одолевают. Да что, милая барыня, и никто ее не поймет, чего ей надо, такая беспокойная. Уж и натерзалась я с ней, наплакалась...

А в Америке апельсиновое больше варенье нам подавали, а то персиковое. Просила Катичку, – купи мне яблочков, вареньица я сварю, – так ни разу и не купила. У них там американское, конечно, варенье, пусто-е... суроп один надушенный, и доро-го-е! А свое-то варить не дозволяют. Мы там в номерах жили, на самом наверху, на двадца-том этаже, чисто на каланче, – ну, огня и не дозволяют, пожару боятся. Уж и высо-та-а!.. – в окошечко как глянешь, сердце и упадет. Эти гуделки вот, – ну, как спишешные коробочки, а человека и не разглядеть, – как сор. Видала-то, говорите... Да уж чего-чего не видала. И по морям-то меня возили, и со зверями в клетке сидели... Сидели, барыня, с самыми-то страшными, львы-тигры вот... истинный Господь. И еще обезьяна, ножиком нас запороть хотела... и как царицу ихнюю на огне жгли, глядеть ходили, где вот... голые все там ходят, а тут обвязочка. Скажи другой – сама бы не поверила. И чего же надумала, – на еропланах подымать меня собралась, с идолом с тем, с американским, с трубкой все к нам ходил. Да я наземь упала, не далась. «Нет, голубушка, ты уж, говорю, хоть за небо лети, а я погожу, по земле еще похожу». Она-то уж летала, сорвиголова стала, – не узнаете и не узнаете. А такое уж у ней теперь занятие... и в море топиться возят, и из пистолетов в нее паляют, и партреты с нее сымают... – понятно, для представления, уж вам известно. В такой-то славе она теперь... по-ихнему – уж зве-зда стала, вон как!

Да с чего уж вам и рассказывать – не знаю, от очуменья никак все не отойду. Увижу во сне, – опять будто в Америке живу, на тычке сижу одна-одине-шенька – так меня в пот и бросит. Да как же, барыня... Перво-то время вместе мы жили с Катичкой, и каждый день у нас с ней неприятности: «да связала ты меня по рукам – по ногам, да куда мне тебя, старую, девать...» – карактер уж у ней стал портиться. Просилась у ней – «стесняю тебя, может, хоть в Париж меня отвези,

там знакомые у меня, будто свое уж место, и в церкву дорогу знаю». Разнежится она, «нет, погоди... и все-таки я к тебе привышна... да ты мне нужна, да как я без тебя буду?» А и часу со мной не посидит. Убежит в омут этот страшный по своим делам, а я плачу-сiju, слезть-то одна не смею, сiju-молюсь, ее бы не задавили на низу там. А как наказала она себя ждать, а сама за тыщи верст улетела, на еропла-нах, мигалки вот где изготавливают... вот-вот, в снима-то эти, сьмаются на картинки где, я и конца себе не чаяла. Абраша, спасибо еще, попался, с нашей стороны, жид-еврей, Тульской губернии... Да легкое ли дело, одна-одинешенька, в чужом месте, в американском, на двадцатом этаже, сказать по-ихнему не умею... Ну, наказала себя ждать, с дилехторами все у ней разговоры шли, велела половым ихним кушать мне приносить. А они без зову не приходят, в разные им пуговики надо тыкать, в иликтрический звонок. Ткнула раз, – смерть чайку захотелось, – приходит арап зубастый, давай на меня лаять, по-ихнему, и на полсапожки тычет, велит скидавать. Все и потешались. Три арапа приходили, все одинаки. И обед-то от них принимать неприятно, чисто тебе собака принесла. Абраша меня и вызволил, взял к себе на постой, в квартирку, деньги-то такие не платить.

Ну, возила она меня в собор наш, в русский... хороший такой собор, и образа богатые, наши образа, барыня. Все-таки они нашу веру почитают. А потом меня Соломон Григорьич провожал, Абрашин папаша, старичок. Ну, маленько отойдешь там, помолишься. А мы тогда прямо голову с Катичкой потеряли, Васенька шибко заболел, она и помчалась служить молебен, на себя непохожа стала. Да вы его словно видали, в Москве он у нас бывал. Да в Ласковое вы приезжали перед войной к нам, два денька гостили, еще барин верхом с вами ускакал, и до ночи вы катались, а барыня серча-ла!.. В имени у них, у Васеньки, и лошадок брали... ну, вот, вспомнили. Говорите, как я все помню. Где же всего упомнить, память старая – наметка рваная, рыбку не выловит, а грязи вытащит. Да я и хорошего чего помню. Васенька в студентах учился, а имение их с нашим рядом, миллионеры были, один сын у отца. Вот-вот, самые Ковровы они и есть, припомнили. Как же, и он тоже в Америку попал, полковник уж тогда был, а у них в анжинера вышел, хорошую должность получил, иликтрическую. Уж он с нами канителился, и в Костинтинополе, и в Крыму... спас ведь от смерти нас! Убежит она из дому, чего-то им недовольна, он и сидит со мной, и молчит. А раз и говорит:

– Ах, няня-няня... сколько я всего вынес, три пули меня прострелили – и цел остался, а Катичка меня измучила!

Через себя сказал, скрытный он. Да это, барыня, знать надо, сразу-то не поймете. И нескладно я говорю, простите... голова чисто решето стала. И то подумать: где меня только не носило, весь свет исколесила. Я уж по череду вам лучше, а то собьюсь. Чего, может, и присоветуете, душа за Катичку изболелась. И приехала-то я затем больше, правду-то вам сказать...

II

В Америке-то очутились? Это я вам скажу, а сперва-то я вам... Ну, что ж, позвольте, чашечку еще выпью. Хороший у вас чай, барыня, деликатный, а с прежним все-таки не сравнить. Бывало, пьешь-пьешь... ну, не упьешься, до чего же духовит!

А ведь это Господь меня к вам привел, Господь. Стою наемни в церкви, на Рю-Дарю, и такая тоска на меня напала... молюсь-плачу. У Марфы Петровны я пристала, в нянях она у графа Комарова раньше жила... Вот-вот, самый тот Комаров-граф, сколько домов в Москве, высокого положения. Так и прижилась, они ее с собой и вывезли. Все уж у них повзросли, и прожились они тут, ни синь-пороха не осталось, а графиня померла в прошедшем году. Теперь один сын на балалайке играет в ресторане, офицер, а постарше – в дипломата хотел попасть, да уж расстройка вышла, он теперь, Марфа Петровна сказывала, дальше Америки уехал. А дочка у высокой княгини платья для показа примеряет, вон как. Марфу Петровну знакомые и взяли, – дочка у них за рестораником нашим, – ее и взяли за девочкой ходить. И комнатка ей на чердачке, тут уж так полагается. Она меня и приютила. Правду сказать, не бедная я какая, смиловался Господь, за себя плачу... Катичка мне дала деньжонок, и не в обрез... Деньги-то? Да она теперь, барыня, столько добывать стала, – не сосчитать! И богачи ихние к ней сватаются все, она только не желает. Такие чудеса, никто и не поверит.

Ну, стою в церкви и плачу, себя жалею... бо-знать чего надумываю: вот, дожила... обгрызочком за порожком стала, никому не нужна. С думы так. И за Катичку-то тревожусь, как она там одна. Катичка-то? Да очень любит, и уезжала я – плакала... да, говорится, одна слеза катилась, другая воротилась... молода, ветерком обдует и... Пойду, думаю, поставлю свечку Николе-Угоднику-батюшке, забыла ему поставить. А он сколько спасал-то нас, с иконкой его так и поехала

из Москвы... старинная, от тятеньки покойного. Так это в уме мне – пойду-поставлю! А уж и обедня отходила. «Отче наш» пропели. Подхожу к ящику свечному, а вы меня и окликнули. Я даже затряслась, как вы меня окликнули – «няничка»! И как вы меня узнали, неуж по голосу... разговор у меня такой, тульской все? А-а, по «смородинке» по моей... ишь, ведь упомянули! А я бы вас нипочем бы не признала. Чисто смородинка у меня на лице, ваша Ниночка все, бывало, – «няня-смородинка», звала... а то «родинка-уродинка». Вот и пригодилась уродинка.

Ниночка-то ничего живет? Так-так, за шофером, офицер тоже был. Так, так... красоту делать обучается. Слыхала, как же, барыням щеки натирают, боту делают. Ну-к что ж, что небогато живут... а кто теперь богато-то живет! Сыты, одеты, обуты, – и слава Тебе, Господи. Катичка и в богатстве вон, а... Мало чего она Ниночке напишет, а сердечко ее я знаю. А чего она может написать? При мне и писала, на одной ноге плясала, все некогда. Видите, как я верно, – открыточку... не любит она толком написать, знаю ее характер. Недолго наживет она там, с американцами, до первой обиды только. Мне Абраша сказывал, а уж он там все-то дырки облазил, ихние порядки знает:

«И зачем вас барышня пускает от себя, мамаша дорогая!» – все он меня так – мамаша дорогая. – «У нас здесь один разговор... то ли ты горло кому перегрызи, то ли тебе голову оторвут!» – так все говорил. – «Старинный глаз тут нужен, а то барышню могут оскандалить, которая красавица и без свидетелей, и от суда откупятся».

И папаша его, с кем вот ехала я оттуда, Соломон Григорьич, хороший такой мужчина, уж старичок... наш тоже, тульской, портной из Тулы военный, тоже сбежал от ихних порядков, не мог привыкнуть. А человек терпеливый, во всех квасах, говорит, мочен. Такой-то жалетель душевный оказался... Ехали мы с ним на корабле, семеро суток по морю-океяну ехали, вот я тошнулась, – помру, думала. А он со мной рядышком тоже тошнился, все меня утешал:

«Ох, чуточку потерпеть осталось, Дарья Степановна... ох, зато от Америки этой дальше уезжаем, бел-свет увидим...» – все меня развлекал.

А его другой сын выписал к себе, в ихние палестины, в Старый Ерусалим, – и у них тоже там святое место. Про Катичку-то я вам... И рвалась я оттуда, а ради Катички уж терпела, как я ее одну оставлю. Девочка она красивенькая, привлекающая, так круг ее и ходят, зубами щелкают... ну, долго ли с пути

сбиться. А она на таком виду, при таком параде теперь... И всего там за деньги можно, а де-нег там... душу купят и продадут, и в карман покладут, вот как. Она и бойка-бойка, а и на бойку найдут опойку. Говорится-то – на тихого Бог нанесет, а бойкой сам себе натрясет. Ну, она меня уж и отпустила, и попутчик такой надежный, Соломон Григорьич. Поняла, может, что погибать мне с ними, не миновать... ну, непричальна я к тем порядкам, к американским ихним. Да Васеньку-то она заканителила, и идол тот навязался, – роман и роман страшный. Уж как все расканителится – не скажу. Не подумайте чего, барыня... она вот как не желала меня пускать, а я все... так уж Богу угодно, мысли все у меня такие были – поехать надо. Ночи не спала, все думала – поехать и поехать, совета попросить. Да вот, про Катичку-то... Да сразу, барыня, не понять, это все знать надо. Идол тот, думается мне так, зуб на меня точил. А вот ее все, мол, оберегаю. Он, может, и уговорил Катичку отпустить меня, правды-то всей не знаю. Да еще я, барыня, попугать ее, просилась-то, отвезти-то меня, а сама нипочем бы не уехала, своей-то волей. Да нет, ничего, барыня, не путаю, а... на мысли вступило мне, поехать и поехать по одному делу. Да дело-то не важное, а ... Уж и натерпелась я там, наплакалась-наглоталась. Ну, она мне и... – «что ж, поезжай, там тебе повеселей будет...» – дозволение и дала. И люблю ее, а поехала... будто так надо, в мысли набилось мне. Может, чего и выйдет, к лучшему. Да и правда: тут-то я хоть в церкву схожу, душу отведу, а там как привязанная я словно, да напужена-то, шум такой... чистый ад! И все будто сумашедчие какие, слова доброго не услышишь, дела до человека нет. Тут народ, барыня, вежливей, сравнять нельзя: и улицу покажут, и... Уехала я, вот и ее, может, подманю: соскучится по мне – скорей приедет.

Не окликните вы меня, так бы я вас и не разыскала. Был у меня адресок на бумажке ваш, Катичка дала. Провела меня Марфа Петровна до земной дороги, под землю лезть, в вагон посадила, наказала пять станций считать и вылезать. Ну, вывели меня из-под земли, стала бумажку совать человеку одному, а ветром ее и выхлестнуло. А там омут чистый, автомобили гудут, вагоны крутятся, – завертело мою бумажку под колеса. Искали с ихним городовым, и человек тот с нами ходил-искал... хорошие, спасибо, люди попались, вникающие. Объясняю им – а-дрист улетел, ф-фы! – поняли, пожалели – не нашли. Поехала я назад к Марфе Петровне. Спасибо, карточка хозяина ее была с адреском, а то бы и ее не нашла. Да еще молодчик один на меня поантересовался, признал – русского я роду, шофер: «садитесь, бабушка, я вас доставлю в сохранности, куды вам?» Заплакала я прямо. Довез акурат до квартиры, ни копеечки не взял. – «У меня, – говорит, – мамаша теперь такая же старушка, в России нашей». Уж такой обходительный, сурьезный, из офицеров тоже. А в церкви вы меня и опознали, Господь привел.

В Америку-то как попали? А разве Катичка Ниночке не отписала? Правда, голову уж она тут потеряла, Васенька заболел. Да вы сразу-то не поймете, идол тот замешался. Идол-то... Да он, может, и ничего, а вроде как шатуший, лизун. Это он меня так прозвал – и-дол! – осерчал. Привела его Катичка меня показать, чисто чуду какую... много ему про меня наплела, что вот не может без меня быть, – то-се. При нем меня и поцеловала, стала нахваливать, по голоску уж слышу. А он ощерился, и пальцем в меня – «и-дол!» – говорит. А Катичка после сказала – «иконкой» она меня назвала ему. Она меня, бывало, – «иконка ты моя, не могу я без тебя!» – это уж как разнежится. А тот на меня – и-дол! – почитает, дескать, она меня шибко! А сам вроде как искутан, лицо такое неприятное, кирпичом, никогда и не улыбнется, зубы покажет только, какие-то они у него... железные словно, а не золотые, смотреть даже неприятно. А бога-ач... денег некуда девать, полны подвалы. Все при деле там, а он надоел звонками. Много уж за сорок ему, и одутлый, а навязался и навязался. И со всеми дилехторами будто знаком, сымаются вот где. Где уж она его сыскала, – не отцепляется, так вот и стережет. А она потешается: идол к нам, она Васеньку вызвонит, повертится перед ними и убежит. Они и сидят, как глупые. Говорила ей – «навязался человек, без пути ходит... да ну-ка еще женатый!» Да уж она волю-то взяла, узды на нее нету, разве она слов слушает. А ей голову закрутили, во всех ведомостях печатают, шмыгалы к нам повадились, карточки с ее щелкают... – уж она показная стала. А де-нег у него... ни в какие банки не укладешь, сам будто делает! Не вздор, барыня, а сущая правда. А, может, и нахвастал. Заехал как-то, в телефон покричал минутку и говорит Катичке: «сейчас я на ваше счастье милиен сделал!» А она повернулась так, гордо ему – «что мало?» – и ушла, ни слова не говоря. Он глазищами на меня похлопал, я ему и сказала: «и нечего, батюшка, вам тут, лучше бы домой шли». Съесть хотел меня, прямо.

Чего уж она наболтала про меня, только он меня невзлюбил. Все и думала – господ бы Медынкиных повстречать, про вас. А где вы – и знать мы не знали, живы ли. Оборвется, думаю, у нас с Катичкой, где нам искать защиты? А вы с Катичкой ласковы всегда были, подарки какие всегда дарили, – помога не помога, а все ей совет дадите, и все-таки одержка, очень она своевольная, меня не слушает... и с Васенькой, может, уладили бы дело. Другой бы ее сразу обломал, а он благородного характера, все терпел. А как заноза в нее насела... Да это по череду сказать надо, а то не поймете. А это артист один, баринов адресок Катичке сказал, на лавочку, она и отписала Ниночке. Артист-то? Он барину на лавочку писал, а барин и не ответил. Нет, фамилию не упомяну, какая-то мудреная... Мен-дриков, что ли? и еще как-то... Кандрихов? Две у него фамилии будто. Все бухвостил: «Я у них на Ордынке театры играл, без ума все

от меня были, а Варвара Никитишна перстень, – говорит, – мне изумрудный поднесла!»

Может, что и наплел, как вы-то говорите. Будто за тот перстень дом купить можно было, а он его за мешок муки выменял, голодал. Верно, барыня, мало ль чего наскажут. Краснобай такой, балахвост.

Катичка ему – «а, пустая вы балаболка!» – а он в ладошки – «поклоняюсь, поклоняюсь!» – никакого стыда. Да больше ничего словно не говорил. Да, вот чего еще говорил:

– Это Медынкин на меня серчает – и адреска барыни не дает. А теперь старое помнить грех, все мы как потонули, будто уж на том свете. Все равно я ее беспрременно разыщу!

Разыщу, говорит, – так и сказал. Такой настойчивый... В соборе он нам попался. Из себя-то? Да не так, чтобы ахтителный какой, и уж немолодой, а видный такой мужчина, брюзглый только, брыластый такой, губастый. Ну, попался он нам в соборе... совсем без копейки оказался, и уж стали его выгонять из Америки, что беспачпортный. А тоже чего-то там представлял, разбойника, что ли, – Катичка говорила. А одета она шикарно, и к собору мы с ней на автомобиле подкатили, – он тут и подскочи. А разговор у них свойский, дерзкие они все – «Как так, не помните! А в Париже-то мы крутили с вами!..»

Чего сказал! Катичка ему и отпела, перчаткой так: «Извините, не помню... и хочу молиться!»

Расстроены мы, Васенька заболел... а он пристал и пристал. Отслужили молебен, и он с нами помолился, на коленках даже стоял, – не отцепляется. Поплакал даже с нами, так и расположил.

«Каждый, – говорит, – день в соборе плачу-молюсь, ничего больше нам не осталось, потонули мы все бездонно».

Так и расположил. И фамилии всякие, и то, и се... и знаменитые-то вы стали, и про Москву, слово за слово – вас и помянул. Тут и распуталось. Сколько-то она ему помогла, зеленую бумажку даже поцеловал. А то бы пропадать ему: велят сейчас же на пароход сажаться и отъезжать. Такие там порядки, чтобы

выгонять, который беспаспортный. А кто и денег при себе не имеет, прямо в тюрьму сажают. А кто большие деньги имеет, ото всего может откупиться. А он и в Париже нашем уж побывал, только вас не мог разыскать никак.

«Лечу, – говорит, – на вокзал, счастья пытать в Америку, и пароход меня дожидается. Глядь – русская лавочка! Дай, думаю, водочки прихвачу и хоть котлеток наших, а то в Америке не достать. Все, – говорит, – родимое вспомнилось, вбегаю в лавочку... ба-а! – сам господин Медынкин грешневую крупу совочком в пакет швыряет! Только расцеловались, адресок лавочки записал, – поезд ждет, опоздаю на пароход».

Как заплетается-то у нас, барыня, чисто в жмурки играем по белу свету. А еще вот, – ну, прямо не поверишь, как расшвыряло. Стало быть, лавошница наша, в Москве мы жили... хорошая такая, богомольная, Авдотья Васильевна Головкова... – и что же, барыня! Где это вот Дунай-река... как это место-то?.. нам цыган венгерский еще попался, на гитаре все звонил?.. Правда, у ж по череду лучше, а то собьюсь. Ну, сулился беспрерменно к вам побывать, в Америке уж все у него оборвалось.

«Только бы до Парижа докатиться, а там опять, – говорит, – встану на ноги. Я у них свой человек был, танцы с простыней танцевали... и у них беспрерменно деньги имеются».

Такой нахал, сущую правду говорите, до чего бесстыжий. Ну, какое кому дело до чужого кармана, вывезли или не вывезли! А уж эти антилигенты, барыня, дочего же завистливы! В Москве сколько насмотрелась. Ну, известно, не все... а насмотрелась.

«Они, – говорит, – с заграницей торговали, у них беспрерменно в банках тут капиталы спрятаны, а лавочка для прилику только». Уж такой-то наглый, не дай Бог. «Должны быть деньги, секретные». Как это он?.. не секретные, а... Те-мные, вот как. – «Я бы, – говорит, – и в Америку не пустился, далищу такую, киселя хлебать, кабы знать, что Варвара Никитишна близко так». А уж говору-ун!.. «Что мне Америка-то, что мертвому греку пивка, пользы никакой нет». Да уж билет выправил, и денег ему вперед задали, дилехтора. «Закадычные, – говорит, – друзья с ней были, из одного стаканчика пили, и партретик ихний в медальоне у меня был, да в дороге оторвался».

Прямо са-нтажист, верное ваше слово. Придет, а Катичка растереха, колечки-брошки валяются, где неслед, бриллианты-жемчуга все какие, большие тыщи плачены, – упаси Бог, человека соблазним. Я и поприберу. Все к обеду потрафлял, изголодался. А собирается, не раз поминал. Разве вот с идолом-то завертится. А как же, и к нему прицепился, да они попусту давать не любят, там и прикурить-то так не дадут. Думатся так, уж не принанял ли его идол-то на тайное какое дело, досматривать... Да нет, сразу-то не поймете, тут все по череду знать надо. Да нет, ничего словно больше не говорил, – про перстенок, да что вот партретик оторвался.

«Теперь бы, – говорит, – этот перстенок... на автомобилях бы раскатывал».

III

Про Васеньку-то я вам... А это она занозу свою все помнила, – знать-то все, – терзала-то его. Она и сама терзалась. Значит, Ковров по фамилии, соседи с нашим именищем. Сами знаете, какое у барина именище было, от тетки им выпало, поскребушки. Тетку они давно уж начисто обглодали. Как померла, они в банки побегли справиться, капиталы искали, а ничего и нет, пустой ящик. Как так, должны быть капиталы! А у ней лакей-старичок, сорок годов жил, – не он ли прибрал к рукам? Ну, оправдался, тыща рублей у него только, оказалось, на книжке на сберегательной. Выдало им начальство бумаги тетקיны, а там все и прописано, сколько они с нее денег перебрали, сами-то даже ахнули... весь ее капитал повыбрали. Уж такие-то несмысленные... а хорошие были люди, грех похулить.

Верно говорите, много барин прахтикой добывал, с другой барыни и по пять тыщ за операцию брал, и приют на свою акушерку держали, а жили-то они как, барыня! Глафира Алексеевна и одеться любили, и в заграницу ездили, и свои тоже расходы были, на студентов помогали, и... Уж покойники оба, а правду вам сказать, денежек что ушло на шантрапу на всякую! Незаконные к ней ходили, полиция вот ловила... с парадного позвонится, часто так – дыр-дыр-дыр, она сама и бежит, по знаку. Посушукаются, – и сейчас в шифонерку, за деньгами. Конечно, не мое дело, а она, простосердая, всему верила. Сказала ей раз, а она мне:

«Для тебя, глупая, стараются-страдают, да не понять тебе только!»

Барин поморщится, скажет:

«Прорва какая-то, надо же разбираться, милочка!»

А она все так:

«Это же наш долг, Костик».

Как уж они столько задолжали, уж и не знаю. Да наскочила еще на хахалю одного, стал он с нее денежки тащить. А он в ведомостях про жуликов печатал. Она глупое письмецо написала, а он прознал, стал грозиться: давайте три тыщи, а то пропечатаю письмо! Прибежала ко мне, голову потеряла:

«Ай, няничка... ославит на всю Москву, и Костик узнает!..»

Все мне, бывало, доверялась; я ее с семи лет ведь знала. А письмо-то к музыканту было, Катичкину учителю. Как уж он его выкрал – не скажу. Было-то чего с музыкантом?.. В доточности не знаю, а... Ну, что, барыня, ворошить, Господь с ними, покойница давно. Ну, выкрал и выкрал. Достали мы за вексель у нашего лавошника Головкова три тыщи, а четыре заплати, на полгода, вон как. Я на образа божилась уж Головкову, отдадим, а он мне как казне верил. И измытарили меня те денежки. Барыня, прости ей, Господи, грех, у барина из карманов помалости вышаривала да мне, греховоднице, – на, попрячь. Больше году набирали, греха что было... в глаза я барину не могла смотреть, измучилась... за грех такой обещание дала сорок раз к Царице Небесной Иверской сходить, сходила. Наберем сполна, она на себя потратит, а Головков меня тербит. Спасибо, Авдотья Васильевна, желанная такая, просила супруга потерпеть. Вот святая душа! Тоже мотается по свету, глазочком только разок и повидала, где вот Дунай-то-река... А газетчик опять грозиться, вот-вот ославит, – тыщу еще давай! Совсем уж затеребил... под машину попал, выпимши. И грех, а мы, правду сказать, перекрестились. А ее все так почитали, Глафиру-то Алексеевну, она все книжки читала, и про все разговаривать умела, и в налехциях бывала, для простого народа все старалась. Две зимы все ходила с музыкантом книжки читать, а он на роялях все играл. Да тут, может, причина-то всему барин: очень она его любила, а он ее огорчал, ну, ей утешение и нужно было. Вот они с тетушки и тащили. А она Катичке кресна была, души в ней не

чаяла, – они на Катичку и выпрашивали.

Да много было... А как и не быть-то у Костинтина Аркадьича забавкам!.. Помните, небось, сами... барыни-то ему покою не давали. Все богачки, листократия самая, время девать некуда, только на баловство. Он к этому делу и пристрастился. А умный ведь какой был, все его так и слушают, как заговорит. Ото всех уважение, подарки, чего-чего не было!.. Высокое бы ему место вышло, кабы не помер да безобразия бы не случилось, большевиков этих. Ну, много тоже и на забавки уходило. Да что я вам, барыня, скажу... я уж и не жалею, что за ними мои пропали, боле двух тыщ пропало. Все едино, получи я свои зажитые – пропали бы. Всем деньгам конец пришел, и тяжелой копеечке, и легкому рублику. Ну, нет и нет у них денег, когда ни попроси.

«А зачем тебе, – скажут, – няничка, деньги... у нас целей будут». А то и так: «Ты уж, нянь, потерпи, вот получим скоро куш, сразу и отдадим».

Три рубли барин сунет, скажет – «это не в счет», – и все. А это они от тетки наследства ждали, куш-то. А хорошие были господа, жалеющие, лучше и не найти. Уж так-то ласковы со мной были, так-то... Заболею я, барин мне и градусник сам поставит, и компрес, и чайку с лимончиком принесет. И барыня, ночью даже вставала, так жалела.

«Няничка, – скажет, – труженица ты наша... самое ты наше дорогое, простой ты народ, тульская ты, мозолистая...» – и руку мне все поглаживает, истинный Бог. А то скажет еще, прости ей, Господи: «Да нам на тебя молиться, как на икону, надо... ведь ты свята-я!..» – а у них и икон-то не висело, и никогда и не молились.

А мне и слушать страшно, и стыдно мне, слезы и потекут. Гляжу на иконку на свою и молюсь: прости ей, Господи, неразумие и меня не осуди. Грешница я, – бывало, сладенького чего возьмешь, без спросу. Конфеты у них не переводились, и пастила, и печенья всякие, и прянички, и орешки заливные, чего-чего только не было! В деньгах, уберег Господь, не грешила и Аксюшу, бывало, не раз ловила. Расте-рехи-и... – ведь это что ж такое! У барыни, где ни поройся, то красенькую, то трешницу найдешь, в книжку засунет и забудет... А у барина в шубу за подкладку заваливались, да па-чки! А то приезжает раз, а у них в ботике семь золотых звенят, в дырку из кармана проскочили. А сколько на улице осталось, и не усчитали: много, говорит, было, карман прорвали. Как в доме денег нет, пойду-пошарю – всегда найду. Барин, бывало, загорячится –

«как так нет? где-нибудь должны быть... в диван не завалились ли, в шубе глядите, за подкладкой!» А сладенького брала, по слабости. Барин, как газетку читать, перед заседанием своим, на турецкий диван завалится и коробками обкладется, и то из одной, то из другой не глядя в рот сует. А денег вот не водилось. Им большое наследство выходило, да оглашенные по Москве палить стали, а там и все деньги отменились. Мы тогда барина в Крым свезли, не до того уж им было. И я бы зажитые получила.

IV

Про Васеньку-то я вам... Соседи по именицу, Ковровы. Стало быть Катичке счастье тут выходит, и в самый-то бы раз, потому совсем барину удавка пришла: затребовали пять тыщ за вексель, – какой-то он барышне по секрету обещался, а платить не из чего. А барыне сказал – старушку, мол, с Федором-лихачом они задавили и вексель дали внучке старушкиной, мировую сделать. А барыня всему верила. А какую уж там старушку, красная бы цена ей рублей двести, – с руками бы оторвали, небогатый кто, за старушку. Я Федора допытывала – смеялся. Барин ходит-насвистывает. Как свистит, я уж и знаю, – деньги нужны. Ну, перестал свистать... кто-то уж ему снабдил, а то и прахтикой постарался, извернулся. Барыня, помню, говорила все:

«Есть же мешки с деньгами, и не умеют распорядиться!» – завиствовала вам, барыня, что шибко богаты вы. Завиствовала. Бывало, скажет:

«И образования у купцов у этих на медный грош, а деньгами хоть подавись!»

Ссердцов, понятно... тревожилась семейным положением. А тут барин в бега ударился. Да нет, никуда не убегал, а по бегам стал ездить, деньги выигрывать. И вы, барыня, тогда ездили на бега глядеть. Ниночка еще песенку все нам пела – «лошадки скачут, а денежки плачут». Катичка ее обучила, наслушалась от папашеньки. Аграфена Семеновна, носастенькая, экономка, бывало, скажет:

«Покатила наша барыня на бега, деньги лошадкам повезла».

Ну, как не помнить, Ниночка с Катичкой билетиками все играли, вы им из сумочки во-от какую кучку вытряхнете, пестренькие все, картоночки. Помню, приехали вы домой, веселые-развеселые, а снег валил, метель такая пошла, и уж темно стало, домой Катичку отводить пора.

А вы приехали, все-то в снегу, разруганы, горячие, сбросили шубку соболью и давай по зале перед зеркалами танцевать, и пальчиками все прищелкивали. Как же-с, очень хорошо помню, в платье вы в самоновом были, рукава по сех пор, и такие вы счастливые были, барыня... и вдруг мне пять рублей золотой и подарили, ни за что! И Аграфене Семеновне золотой тоже выкинули, – сказали, что много наиграли. И красивые же вы были... прямо как купидомчик! Ну вот, вспомнили... засветились все, вовсе даже, барыня, помолодели! так и вспомнилось, какие вы красивые-то были. Да нет, вы и теперь красивые, барыня... да ведь у молоденьких своя красота, природная. И про билетики нам сказали, – каждый по большому золотому. Уж мы считали-считали, сколько же вы золотых-то наиграли... за две никак сотни золотых! А вы еще посмеялись: «ах, глупые-глупые, да это же все проиграно, а то бы я за картоночки денежки получила!» Теперь бы вот эти золотые... Да тогда разве думалось, что светопредставление такое будет. Все в свое удовольствие, в себя жили, – вот и не думалось.

И барин в бега ударился, закружился. Его на прахтику требуют, а он по бегам гуляет. Барыня его как стыдила, ловить его ездила, бывало, для прахтики, – ни разу не поймала, увертливый очень был. И такой тоже развеселый, тоже Катичке картоночки все выкидывал. У нас тогда неприятность с барыниным братцем вышла. А как же, братец у них был, только незадачный вышел, по их словию. Никому про него и не поминали, и к себе не пускали, от стыда. Аполитом его звали. Ну, не задался он у нас, у мамашеньки я тогда жила, его из гимназии и выгнали, он и пошел на железную дорогу, в машинисты, и на портнишке женился. Черного уж стал звания, они и брезговали. Он придет, а барин в кабинет уйдут. И еще деньги он требовал, от мамы наследство, а деньги-то они прожили, а он знал, что и на его долю было... тыщи четыре денег, записка у барыни была посмертная. Ну, и неприятности. Сперва-то он ничего, смирялся. Пришел к барыне крестить звать, она отговорилась. Обиделся он, шурами их назвал да сгоряча вазу китайскую им и разбил, – барин его чуть палкой не ударил. Скажу им – «Аполитушка вам братец родной, хорошего тоже роду, гнушаетесь-то зачем? а бедных жалеете. И он небогатый, руки мозолистые, пожалели бы его!» Перед знакомыми стыдились, что на портнишке женился. С горя-то он, узнали мы потом, в сацалисты приписался, всех чтобы разорять, с досады. Ну, разбил он вазу, она его выгнала, да расстроилась – побежала

проветриться на мороз. А вы тут и подкатили на серых. Саночки легонькие у вас были, а кучер во-какой широченный, – как саночки не раздавит, дивились мы. Барыню не застали, а мы с Аксюшей черепки от вазы подбирали, как вы вошли. Ну вот, вспомнили. Барин с вами и покатили на бега. Я еще в окошечко залюбовалась, какие вы шикарные были, шик! Барин в ту зиму впух совсем проигрался, все туда денежки отвозил, как в банки... столько он просадил, – никакой прахтики не хватало. Вот тетеньку они тогда и начали донимать.

V

Бывало, скажут: не миновать – Иверскую подымать. Я-то понимала, чего греховодники думают. У нас не то что Царицу Небесную никогда не приглашали, а и батюшку с крестом не принимали. Как у нас расстройка какая, барыня в спальню запрется-плачет, я возьму водицы святой и покроплю, помолюсь за них. Ну, будто они дети несмысленные, жалко их. Образов у нас в доме не было, барыня не желала, по своему образованию, и свое благословение, мамаша их замуж благословила, она на дно сундука упрятала. В детской только я уж настояла Катерины-мученицы повесить образок к кроватке, да в прихожей иконка висела, от старых жильцов осталась, вершочка два. А в темненькой у меня и лампадочка теплилась, Никола-Угодник у меня висел, в дорогу-то захватила, и еще Казанская-Матушка. А у них, чисто как у татаров, паутина одна в углах, боле ничего. Да, насмех будто, барин статуя голого купил, «Винерка» называется, в передний угол в зале поставил, под филоденры, – вот и молись. И что я вам, барыня, скажу... – с чего-то нас пауки одолели! Ну, одолели и одолели, сил нет. Навелось паука, так и распостраняется. А чистоту строго наблюдали. Только обмела – опять паутина и паутина. Я уж барыне говорила:

«Смотрите, барыня, паука у нас сила несусветная... не к добру это».

Дернулась она, да с сердцем на меня так:

«Что ты мелешь? почему – не к добру?!» – а затревожилась.

«К пустоте, – говорю, – пауки одолевают... думатся так, по-деревенски».

«А, глупости... любишь всегда тревожить!»

А я сколько примечала, про паука-то, что к пустоте. Ну, нехорошо и нехорошо у нас, так-то нехорошо-невесело... ну, вот чувствуется мне пустота-глухота, чисто сарай. Барыня и давай зеркала оглядывать, хорошо ли привязаны. Ужас, как зеркалов боялись, как бы не разбилось.

За тетеньку они, Иверскую-то подымать: тетеньку в гости звать, хорошенечко засластить. Привезут в карете, давай угощать-улаживать:

«Ах, тетечка... ах, милая... совсем-то вы нас забыли, и как вам, тетечка золотая, не стыдно... а мыто скучаем, а мы-то для вас любимого пирожка со сливками, да рябчиков с мадерцовым соусом, и грушки душистые, по зубкам вам... а Катюньчик без вас жить не может...»

Так она и растает. И новую рояль Катюньчику, и на музыканта ей, и выигрышный билет ей... А как проигрался на бегах барин, они и подняли тетушку, всурьез уж. А она на ладан уж дышала, чуть жива, и палец все сосала, как малоумная. После угощенья барин и бух перед ней на коленки. Упал и зарыдал. Уж так-то возрыдал, и ручки ей целовать. А он умел зарыдать, и слезы потекут, исхитрялся, от чувства так. Да я-то уж знаю, барыня, как они исхитрялись... И это у них сговорено так, с Глафирой Алексеевной. И глядеть-то, бывало, надоест, как они исхитряются. Как же не замечать-то, на моих глазах все... А гостей приглашать! спору сколько, будто дом покупать собираются: того не надо, какой от него прок, а эта прахтику может дать, обязательно надо завлечь... И место кому за столом какое – ну, все прикинут, чисто шелками вышьют. За глаза и ругнут, а зарятся. Фабрикантшу одну сколько годов ловили... только поймали, она и помри. Самую эту, Лопухову, доктору своему сто тыщ отказала, как барыня жалела!

Ну, упал-зарыдал, тетушка так и затрепыхалась, заквохтала, кудри ему давай ерошить, в глаза глядеть...

«Ай, что такое, не пугай, Костинька... или опять накуролесил?...»

А она часто мирила их. А он рыдает!..

«Ах, у Глирочки чахотка в градусе, доктора на горы в заграницу посылают, а у нас нужда вопиющая, бумаги потеряли... поглядите на эту тень!..»

А барыня у притолоки стоит, бе-элая, напудрена, и в платочек покашливает. А тетенька слепая, за рукой не видит...

«Что ж вы мне раньше не сказали?! как можно запустить?!..»

Она сразу тогда – де-сять тыщ! Так всю и обглодали помаленьку. Проводят – и давай по зале танцевать. «Ах, милая старушка... ах, славная дите!» – так представляли хорошо, сама поверишь. Шутили-шутили да и нашутили. А вот доскажу. А померла она – и похоронить не в чем было, – в простом так гробу и схоронили, с одним-то факельщиком. И панихидки от них не дождалась. И старичку-лакею ее не пришлось за пять лет зажитого получить. Они ему старый умывальник вместо того отдали да царский портрет большой, старого царя.

А именице она еще вживе Катичке отдала, летом на дачах жить. Мы с ней там и живали, а они редко когда заглянут. Там и с Васенькой познакомились, в крокет приезжал играть к нам. Тогда еще, примечала я, Катичка ему ндравилась. Ей годков десять было, а высокенькая уж была, в папашеньку, а ему к пятнадцати, пожалуй. С англичаном к нам приезжал, на высоких таких колесах, как в ящике. И у нас тогда миса жила, англичанка тоже, по фамилии Кислая... говорить Катичку по-ихнему учила, гордая да капризная... – все мы ее «кислая кошка» звали. А так обучила хорошо, все вон теперь дивятся, так за англичанку и признают, очень способная Катичка. А Кислая и влюбись в барина! Как на икону на него молилась. Так-то она недурна была, жильная только очень, костистая. Что-то у них с барыней вышло, она и разочлась, сумочкой в барыню швырнула. А Катичке сказала – «всегда для вас все готова сделать!» И что же, барыня... ведь она как нам тут пригодилась, в загранице! Через ее мы англичанами чуть не стали, в Костинтинополе когда бились... Она бо-знать чего про нас наплела, чуть ни царского роду мы с Катичкой, письмо послала старичку одному англичанскому со старушкой, а они по морям катались, вот к нам и приезжают, к «Золотой Клетке», где мы служили... ресторан такой. И свой корабль у них, страшные богачи... И вправду, уж я по порядку лучше.

Да, так вот тетеньку и похоронили.

Верно, барыня, много добывал, да на много и дыр-то много. Сколько у них утех-то было, на каждой тумбочке! Да они всегда порядочные были, худого слова про них не скажу, верно вы говорите, – а все не ангел. Без пятнышка и курочки рябой нет. Лошадей они не держали, а был у них Федор-лихач, так он всех по Москве его канареек знал, нашему бутושнику сказывал. А бутושник у нас заслуженный был, кресты-медали, крестнику моему дядей доводился. Вот мне крестник и сказывал... рыбкой он в Охотном торговал, рыбку мороженую нам нашивал, судачков, наважку, копчущечек... – придет и шепнет:

«А у доктора новенькая завелась, в Таганке».

А то на Арбате. А барыня и не чует. Начнет как барыне душестых груш привозить либо цветы в корзинках, так я и примечала – новенькую нашел. Да какие же сплетни, барыня... живая правда. А барыню дострасти любил, а из баловства, для разгулки так. Барыня ведь красавица была, графской крови, по дедушке, а потом их из графов отменили... барыня мне не сказывала, а барин ее корил когда, что, мол, графы твои фамилию профуфукали за хорошие дела... а она в слезы, его корить – «а ты подзаборный мещанин!» Ну, мало чего бывает промежду супругов. Уж такая красавица, хрупенькая, на ладошку барин ее сажали и носили, как пирожок: «ах, галочка моя... ды-ах, цыганочка моя... ах, перышка моя!..» – заласкивал. А баловство бывало. И по городам бывали, для прахтики когда ездил. А у кого не бывает-то, барыня, деньги у кого вольные да человек веселый! И закону у них не было, строгости-соблюдения, и в церкву не ходили, о душе и не думалось. Матрос-большевик, помню, говорил, в Крыму жили, – «все теперь наши бабы!» От Бога отказались, досыта лопали, ну и... – «у нас, – говорит, – кровь играет... на сладкое положение выходим!» Вот гроза-то на нас нашла, за Катичку как дрожала... расскажу-то. Вот и барин, от сытой жизни.

И в хороших семействах у них бывали, из прахтики. Да в разных... На этих уж он не тратился, а все партреты свои дарил, на память. Цельная у него пачка была в запас, побольше, а то поменьше, по уважению. Были-то какие? Вот даже какие были, с аршин, самые уж уважительные. Да забыла я, барыня, фамилии, где ж упомянуть. Андра-шкина?.. Помнится, была... Кто еще? Нет, про Сударикову не слыхала, а шелковиха одна была, только не Сударикова. Мелкова еще, в ресторане-то застрелилась, в заграницу ее увезли после. Да Господь с ними,

барыня... Нет, Старкову что-то не припомню... А Локоткову, может, слышали... у них меховое дело было? Тоже уважительная была; шубу барину какую сделали, за двести рублей, а ей цена за две тыщи. Тогда барыне соболью буу барин подарил, что-то недорого тоже, а какая буа-то... от мамы Катичке досталась.

Как не знать, и барыня про партреты знала, а умел так разговорить, – для прахтики так надо, пациенки желают, из уважения. Это уж все потом раскрылось... и вспомнить страшно, – в наказание так Господь послал. А то и в испытание... Анна Ивановна говорила, милосердная сестра. Вот святая душа была-а... расскажу-то вам. Сплетни-то доходили, и письма барыне подсылали, со зла которые, пациенки. Растревожится она, закричит:

«Негодник ты негодный, бабник ты, юбошник... не смей до меня касаться!..» – кулачками так затрясет. А он ей, удивится словно:

«Ты что, милая... белены объелась?..» Она ему в лицо шварк – письмо! «А это что?!. Негодный ты, порститут!..» Повертит письмо, плечом подернет... «А, стерва... – скажет, – теперь понятно, это же она со зла, шельма, что финтифлюшки ее не принимаю, внимания не обращаю на эту рожу!..» Она и рассахарится, поверит словно: «Да-а... – скажет, – актерщик ты известный!» Всегда и извернется. Зацелует, у коленок поерзает, груш привезет, – и все. Понятно, в себе держала. А как накалит его, он шубу на плечо, дверью хлоп, и на свое заседание, на всю ночь.

У них ученые заседания были, и еще казенные заседания, чтобы царя сместить. Это мне Глафира Алексевна по секрету говорила: партию они делают. Вот и сместили, добились своего... только вот порадоваться-то не довелось. А уж ждали-ждали... барыня все сулилась:

«Вот, няня, погоди, скоро всему перемен будет, по-новому все будет, Костик тогда над всеми больницами будет... и всем тогда хорошо будет... и тебе богадельню выстроим, для всех старушек, и всем хорошее занятие будет, и жалованье большое будет, трудящим всем. Хлопочем все, так хлопочем... партию делаем, для всего народа чтобы».

Вот и схлопотали, в Америку попала. Да что, про себя и не говорю, а... не поймешь ничего.

Ну, уедет он в заседание, и она в свое заседание, хлопотать. А то, под конец уж это, капли стала веселые в бок впускать. Впускала, барыня, своими глазами видала, как... и испортила себя каплями. Завеселеет, забегает, а там пуще еще расстроится, плакать ко мне придет:

«Ах, няничка... и что я за несчастная... и красивая я, и молода я, а Костик меня обманывает, чую!..»

А они ведь хорошенькие были, красавица из красавиц, все-то на них заглядывались. Ну, может, и не первая красавица, вы-то как говорите... а уж такая была красotka! Это вы правду, барыня, росточку небольшого и на цыганочку маленько похожа... так это с капель у ней личико желтеть стало, а то прямо ягодка была, как куколка какая. Барин дышали над ней прямо, так любили. Он рослый был, рука, чисто тарелка... посадит на ладонь и носит по зале, как птичку какую, – «ах, галочка моя... ах, бабочка моя!..» – всякие приберет слова. Скажу ей – Богу молиться надо, мысли и разойдутся. А и вправду. Где душе-то спокой найти, о себе да о себе все, бо-знять чего и думается. Уедет барин, она все ящики у него обшарит, – нет ничего, все концы умел с хоронить. А то прибегла ко мне, – веселая, – «любит меня Костик, одну меня!» Письмо нашла, а на письме барин чего-то прописал, барыню какую-то обругал. А от такой раскрасавицы письмо было!.. Маленько и отошла. А скажешь ей про Бога, она так и закинется:

«Что ты, старая, заладила – Богу-Богу!..»

И Катичка вот, бывало. Это уж ее Анна Ивановна наставила, – молиться она стала, в Крыму уж. Да что, и в Америке жили – попрекала:

«И все-то не по тебе, ворчишь! Старый дух в тебе. Сколько было, все другие стали, все вверх ногами стало... с чего ты одна такая, никак не меняешься, как тумба? Старый дух!..»

А что вот и по-старому говорю, и куча я муравьиная, и платье на мне все то же, и платок ковровый с собой взяла, и тальма на мне с висюльками, – старое ей все поминается. Скажешь ей – а чего мне новой-то быть, не бельишко, не выстираешь, а какой мне Бог вид дал, такой и ношу, не оборотень какой, не скидаюсь... губы мне красить, что ли! Это нечистый образины всякие принимает, норовит все наоборот вывернуть. Ну, это как расстроится. А то – лучше меня и

нет.

Про барыню-то я... страшно бывало слушать.

«Бог-Бог... что ж он мне не поможет, твой Бог!» – чумовая будто.

Так вся и исказится. Ну, известно, астеричная. И барин все, как вот вы сказали, – астеричная ты! А то косы распустит, – а волосы у ней чуть не до пят были, – обкрутится ими, шею замотает и кричит незнамо чего: «Ах, разведусь! Ах, задавлюсь... себя и его убью!..» А без него и часу не могла, так мог приворожить. Да вы их, барыня, сами знали, как обойтись умел. Борода одна чего стоит, шелковая, кудрявая, за плечо, бывало, закинуть мог. А как все по-новому стало, они и бороду обстригли... не узнать, болезнь уж ихняя началась. Бывало, в бороду духи льют, а потом вымоют, в полотенце закрутят, она и вьется. И голос приятный, и манеры такие благородные, все-то в зеркало красовались, хохолок взбивали. Барыня ему – «ах, какет какой!» Все барыни от них без ума были, барыня сама сказывала, и ей это словно приятно было. А чистоту любил!.. Принесет прачка трахмальные рубашки, все-то переглядит, перещупает, все им трахмалу мало, – грудь все чтобы гремела, горбом стояла. Прачка, бывало, плачет: назад и назад, перетрахмаливать. Белья полны комоды, да все тонкое самое, голанское... а галстуки эти так и шваркали, чуть помяты. И помочи, и носки, и платки носовые, – все шелковое, цветное... и подштанники, извините, разноцветные, шелковые, и эти подушечки везде, для аромату, саше?. Что говорить, любили покрасоваться.

Вы-то, барыня, сурьезная при семейной жизни, Глафира Алексеевна за пример вас все ставила, а и вас даже приревнует. Да опасалась, ну-ка он с вами завлечется. Миллионерки были, всем соблазнить могли. А бриллиантам завиствовала!.. И у ней чего показать было, от ихних графов еще осталось, а не сравнять, как можно... горели-то на вас, чисто вот как жар-птица. То вот как расхваливает вас, до бегов это еще, а то давай честить, уж простите. Да что говорила... разное, как придется. Дело прошлое, уж не обижайтесь на покойницу... а всякими, бывало, словами...: мне уж и говорить стеснительно-с. Ну, уж если угодно, правду скажу, не скрою... И хитрая-то она, и фабрикантша фальшивая, да-а... и месалиная она... И сама не знаю, какая такая мисалиная... а все, бывало, так – мисалиная... И ноги лаптем, и кукла золотая... – уж извините, от слова не станется, а всердцах мало ли что с языка соскочит!.. – и чего она к нам повадилась, и чего Катюньчика игрушками завалила... и деньги дерут с народа, и как посмела запонки Костику подарить такие... А вы куклу Катичке

заграничную привезли, с нее ростом, и полон короб приданого куклина, не видано никогда, так все и издивились. А запонки... она их всердцах в этот... в клазет спустила! В клазет, барыня, сама барину повинилась. Только вы в заграницу, – она их и спустила. Барин ее кали-ил:

«Что ты наделала, безумная! боле пяти тыщ запонки, такие брильянты!..»

Цену они уж знали. Не помните... А я упомянула, денежки-то какие! А, может, и от другой какой, спутала. Так серчал!..

«Это мне память дорогая, я Медынке с Ордынки жизнь спас!..»

За заставу покатыл, куда трубы подают. Да где там найти, со всей Москвы сплывает. Копались тамошние золотари, – барин им посулил, – не нашли. Очень вас, барыня, почитал. И партрет ваш на столике держал. Барыня схватит – и в нос ему:

«На, повесь в угол, молись на свою святую!»

А он ей смехом:

«Постой, лампадку вот дай куплю. Да глупая ты... да одну ведь тебя ценю, как золотой алмаз!»

Она и кинется к нему на шею, и за шимпанским сейчас пошлют. И меня угостят. Да я его не любила, по мне нет лучше ланинской водицы черносмородиновой.

VII

Правду надо сказать, с горя и она себе утешения искала. В церкву-то не ходила, о душе и не думала... ну, соблаз ей душеньку и смутил. И уберечь себя трудно, в их положении, – много народу увивалось. Еда сладкая, никакой заботы, музыки да театры, и обхождение такое, вольное, – телу и беспокойно, на всякую хочу и потянет.

Картинку с нее красильщик один писал, чуть не голую расписал. Волоса распущены, одно плечо вовсе голое, грудь видать, на подушках валяется с папироской, и цветы на ней навалены, и фрукты всякие, и кругом ее все бутылки, – будто арапскую царицу написал, за деньги показывать хотел. А ее вся Москва знала, барин и осерчал. И вправду, будто распутную женщину намазал: и глаза распутные ей навел, и ноги так непристойно, до неприличности. Он картинку-то у того и отнял, себе в кабинет повесил. И ту даже занавесил, а то и поглядит. С того все и началось, пожалуй. Стала она такая вольная, на себя непохожа, словно уж не своя, – испортил ее красильщик. В щелку гляжу, бывало, мазал ее когда... и за руки-то хватал, и за ноги перекидывал, и всю, как есть, перетрогал он ее, от стыда помаленьку и отучил. А она – хи-хи-хи... – чисто ее щекочит. Вольные платья стала нашивать, – стыд и страх. По портникам, по модисткам... вырядится – страшно на люди показаться, барину и покажется. Он так и ахнет!..

«Гли!.. да ты не ты!..»

Будто приворожит его. А который ее мазал-то, урод косоглазый, на козла похож... возьми да и влюбись в нее. Проходу ей не давал. А у него вредный глаз был, он ее и заколдовал, глазом-то. Смеетесь, барыня... а сущую правду говорю. Сидит и глядит, колдует. Так помаленьку и заколдовал. Она уж как почувствовала, станет его просить, руками укрывается:

«Не развлекайте меня, не выношу вашего глазу!..» – и хохочет.

А он пуще уставится. А барин на прахтику уехал, в Богородск. Вот тот приезжает, глаз на нее уставил, и говорит, чисто ее хозяин:

«Вы непременно поедете со мной кататься, картинки мои глядеть!»

Вмиг собралась – покатила. Вернулась на рассвете, и вином от нее, слышу... – сама не своя, у ж он ее испортил. Два дни из спальни не выходила. А тот телефоном донимает! Она трубку об стол и расколола. Тут его колдовство и кончилось. Долго она болела, после того-то. Ну, что тут, барыня, антиресного?.. Ну, и еще было. Как сорвалась с закону, греху как приложилась, – и не удержишься, Бога-то когда нет. Был еще один, словно студентов учил... ни разу его я не видала. Скажешь ей стороной, а она сердится – не смей грязного думать, тут только приятельская дружба. А я к тому, что нехорошо перед

барин, стыдно в глаза смотреть... – за письмами, бывало, меня гоняла, в секрет, на почту. А у меня глаз-то свой, не дареный... белье шикарное стала покупать, тонкое-то-растонкое, прачке отдавать страшно, я уж сама стирала. Ну, все и видно... что я, слепая, что ли! Исхитрялась передо мной, а совесть-то не заткнешь, – из глаз глядится.

Да чего, барыня, приятного тут?.. Ну, музыкант был, учитель Катичкин. Ничего человек, смирный, играет, да вздыхает, только и всего. Вот-вот, самый он, волоса длинные, на грека похож, и с бантом с белым, а только тихой. Греки – они шумные, я их знаю, в Костантинополе как мы бились. Вот там греки шумели!.. Всех с тортуваров сшибают, никакой управы на них, турков они прогнали, а англичаны город им не дают, забрали себе под флаг. Им досадно, все и кричали: «сильней нас нет, всех покорим, со всех денежки стребуем!» Офицер наш один все их дражил, бывало: «и у петуха шпора, да не звенит!»

Ну, вместе сидели и играли на роялях. Поглядят друг на дружку – и опять заиграют. Может, и не было ничего промеж них, очень уж тихой был, музыкант-то. А глаза паялил, правда. В зерькало раз видала, как она его в маковку поцеловала... а он глаза так, через лоб, и вздохнул. Ну, в налехции с ним ходила... Барин раз и перехвати письмецо! Подает ей, уж распечатано.

«Как ты смеешь письма мои печатать? – она ему. – Тут ошибка, ничего я не понимаю...»

«А я, – говорит, – понимаю. Был у музыканта, и была у нас музыка!»

Божиться стала, а то и не перекрестится никогда, хоть тебе крестный ход. И разочли мы музыканта. Я ему и жалованье в письме носила, щека у него была завязана, полтинник на чай мне дал.

Ну, сами, барыня, посудите: как же им дите воспитать, при таком-то хавосе. И давно бы от них сошла, да к Катюньчику привязалась, оставить жалко.

И чего только они над ней не вытворяли!.. А знаете, я чего думала, барыня?. А вот чего я думала. Наше семейство взять... Ну, барин хороший человек, такой благородный, чужой копеечки не тронет, хоть ты ему тыщи-растыщи положи... очень по закону понимал. А барыня... и добрая, и образованная, сочувственная очень. И все барина уважали, и доктор он ученый, самый умный, и прахтикой много помогал... и такой тоже сочувственный!.. Лошадь под окнами у нас упала, а ломовик уж известно – в брюхо ее ногой, ногой. Обедали они, как увидели... выбегли на мостовую прямо, кричать, – в участок хулюгана-негодяя, в протокол писать!.. – животные были попечители... были ведь у нас такие? Вот-вот, из животного попечительства. А то в ведомостях чего прочитают... голод вот когда по деревням был, или кого строго засудили, за царя... а то и казнили, кто в высоких лиц бонбы швырял. Вон барыня расстроится!.. Салфетку бросит в суп, кулачками себя в грудь... кричит: «звери-звери!.. нельзя терпеть, нельзя жить, нельзя руки сложить! народ морют, убивают... а мы можем спокойно есть!.. не могу, не могу!..» Барин ей капель, все успокаивал: «не волнуйся, мы это все скоро переменим... все кончится!» Заплачешь – на них глядеть. Вот, думаешь, как по-Божьи надо, и в церкву они не ходят, а им Господь за доброту все простит. К бедным-то? Правду сказать, к бедным не ездил барин, а так сочувствовал... вредно в грязи рожать, зараза будет, все говорил... пусть в приюты идут рожать, в ламбалатории, и чистота там, и денег не берут. А прачка наша, у ней ребеночек поперек шел... сразу ей барин выправил, ни копеечки не взял, – только трахмал потуже. И сколько от смерти спас, и женщин, и младенчиков... мертвеньких уж совсем вынал и в себя приводил!.. Вот как.

А иной раздумаешься – сколько же он ангельских душек помори-ил!.. Да я-то уж знаю, барыня... И за это деньги какие брал! и на что же денежки эти шли-и... в прорву, на баловство, в свой мамон.

Барыня все мне говорила, как и вы вот... – такая мадицина эта, требуется. А я-то знаю... грех покрыть помогал, ангельские души убивал, пу-зырь колол! Когда мадицина эта, разродиться женщина не может, это я знаю. Ну, грех страшный, а всякий грех замаливается, только не греши. Ну, на церкву бы подали, для души, или бы сиротам помогли... Скажешь барыне: нищие к нам заходят, надо бы на кухне подавать, как у мамашеньки водилось. А она – «лодырей разводите! на попечительство даем, там уж знают». Да не все попечительство-то знают. И канючки есть, и дармоеды, а сколько и живой нужды есть. А господа нужды живой не любили, расстраивались от нужды. Страницу приняла я раз, чайком попоила, а у ней палец гнилой, с морозу, всю она кухню пальцем нам протушила, правда, – как же они заопасались. А у нас в помойку котлеты выбрасывали, а про хлеб и говорить нечего. Это в Крыму мы с Катичкой узнали, как хлебушек

добывается, и в Костинтинополе повидали, как в море с детьми топились, себя продавали за кусок... – вспомнить страшно.

Ах, барыня... у нашего батюшки девочка в ихней больнице померла, англичаны поместили, от сострадания. А мать и не допустили попроситься... от заразы, будто... – и похоронили не сказавши. Пришла, а они уж похоронили, и не отпевали! От сострадания, говорят. Так матушка и упала на ступеньке. Может, и барин тоже, от сострадания... а думается мне – грех и грех.

А добрые люди, как трудящий народ жалели, очень помочь желали... у всех чтобы свои капиталы были, всем чтобы поровну. А вот жили на такие деньги. Да я знаю, барыня, не все такие деньги были, а... хоть половинка была такая, за младенчиков! Из Нижнего от мушника барышню привезли к акушерке ихней, грех покрывать: сколько хотите возьмите, остановите только последствия. Десять тыщ выклали! За грех-то и деньги платят. Остановил барин, проколол пузырь. Едят сладкий пирог, за пять рублей, бывало, покупали... и мне дадут. И придет в думушку: а ведь это за пузырь мне, за ангельскую душу, сладкий кусок... за грех! Да я не осуждаю, барыня... а сумление во мне было. А вот слово я какое получила, от святого человека... а вот.

Это как нам барина в Крым везти, чисто вот сердце чужало. Поехала я за Троицу, в пустынь, к старцу Алексею. Мне Авдотья Васильевна присоветовала, желанная такая. Ну, поговела я там... а уж царя сместили, все будто понарошку пошло, ползти стало. Мне старец и сказал... я ему покаялась, у таких, мол, господ живу, сладкие куски принимаю... так он и засветился, и глазки ручкой так заслонил... открылся – плачет. И пошептал мне:

«Родная ты моя, не смущайся, все принимай... и чужой грех на себя прими, а не осуди. Без нас с тобой судит Судия... и все мы грехом запутаны, а вот Судия и рассудит».

Всю тягость с меня и снял. И барин вот, как ему помирать... И правда, а то собьюсь.

Катичку укладываю, бывало, и станет страшно, как про их грех подумаю. Отплатится ведь за это! без того не пройдет, на ком-нибудь да взыщется. Да неуж, думаю, Катичке и отплатится?.. И что же, барыня... отплатилось, так-то им отплатилось..! И Катичка, разве счастье ей? Да я, барыня, все знаю... вы не

знаете, а я-то знаю. Ну, все-то мы, за что мыто теперь мызгаемся так? Самые, может, хорошие и страдают больше, за чужие грехи принимают, а уж Господь рассудит, все у Него усчитано. Вот теперь и нужду узнали, и в чужую беду стали проникаться, и как хлебушек добывается, слезами поливается... и в церкву стали ходить... – все у Него усчитано.

Ночью проснешься, как все-то вспомнишь... – да как же я сюды попала, в пустое место! да чего ж мы все толчемся тут ни при чем, как цыганы бродяжные... оттуда гонят, туда не допускают... В Костинтинополе жили мы.

Вот напугались как, слух прошел, – хотят власти нас большевикам отдать! Чуть-чуть не отдали, кто-то уж за нас вступился. Да как же так? – говорили все, – да где ж у них Бог-то?! А как же барыня говорила нам – самые они образованные!.. Уж вот уж повидала-то... Катичка тогда из себя вышла, калила их, калила... такой скандал, расскажу вам по череду. Так вот, говорю-то я... – проснешься, Господи, старая я, кому нужна, сызмала сирота, с девчонок по чужим людям... покарай ты меня, взыщи на мне, а Катюньчика не оставь милостью! На всем свете одна она у меня теперь, будто дите родное. И покойный барин меня просил, помирал... не забуду и не забуду.

IX

Да, про Катичку я вам... И чего только они над ней не вытворяли! Барин никогда пальцем тронуть не позволял. Бывало, постращаю, нашлепаю за прокуду за какую, надо ж острастку ребенку дать. Ну, моду взяла какую... без горшочка ходить, а уж пять ей годочков было. По всей комнате крендельков наставит, а я подбирай. Я ее полотенчиком по заднюшке. Заголосила – и к папеньке. Он меня, – а он высоченный, как жандар, был, – за руку меня, загорячился:

«Ежели ты, такая-сякая, посмеешь еще Катюньчика пальцем тронуть, – духу твоего тут не будет!»

Через полчаса обошелся, в руку мне три рубли:

«Прости, Дарьюшка, за горячку... пропадет Катичка без тебя».

Стала я ее молитвам учить. Они ее до ученья ни одной молитве не обучили.

«Не смей Катюньчика глупостям учить, – барыня мне, – в молитвах твоих она все равно ничего не поймет».

«Да не мои, – говорю, – молитвы, а Господни... она не поймет, он зато понимает и не подступится».

«Глупости! Мы хотим сделать из нее своевольного человека... она сама должна всего добиваться, а не на твоего Бога полагаться!»

Да чего же мне наговаривать на них, барыня, когда правда!

«Да какой же это мой Бог... опомнитесь, барыня! – говорю, – один у нас у всех Бог... Иисус Христос!»

«Ну, я тебе сказала. Если еще услышу глупости, можешь искать себе место в другом месте!»

Стала ей внушать, как же вы ребенка без Бога на ноги поставите, крещеная ведь она... надо ее по-Божьи учить, или никак не надо учить, а как собаку какую? И у собаки хозяин, а у ней... слушать-то ей ко-го? А горе будет, где у ней утешение?.. Повернулась и пошла. Да они и не окрестили бы ее, кабы не тетка... для тетки и окрестили, да и по закону надо, а то как же без имя-то? Ну, обучила ее «Богородицу» говорить, и «Отчу», и «Ангелу-Хранителю»... и просвирку за нее выну, и в церкву с ней зайдем к вечерне, гулять пойдем. А она охотница до церкви была, так руку, бывало, и оттянет:

«В телькву, няниська, в те-лькву!..»

Не на радуешься прямо на нее. И ангелочки ей там золотенькие ндравились, хирувинчики с крылышками, – Божьими гуленьками все их звала. Скажет, бывало, забавная такая:

«А к Боженьке я когда уйду, тоже хирувинчик буду? А ты, няниська, не будешь хирувинчик? ты большая, тяжелая, не можешь полететь на крылышках, упадешь?»

Уж такая была смышленная да вострая... Я ей и накажу строго:

«Мамочке не сказывай-смотри, что мы к Боженьке заходили, а то прогонит она меня со двора».

Погрозится так пальчиком, губенки вытянет:

«Не сказу-у... мамотька Боженьку не любит, а мы любим».

Истинный Бог. Значит, у ней уж душенька говорила. Так бы и вести ребенка, страх Божий бы она знала, греха боялась. А дома ей другое в головку набивают. Барыня начнет ей набивать – слушать страшно... про человека да про человека, все что ни есть, он может. И кости человечесьи в книжках показывала, и собачьи кости показывала, – одинаки, говорит. Барин и то серчал – рано ей, у ней мозги высохнут. Год от году стала она своевольная, сладу нет. Крестик на ней был, гляжу – нет! Мамочка сняла, грудку ей оцарапал. Купила я ей, хороший такой, серебряный. Опять мамочка сняла, а мне распек. В лицо мне стала плевать! Скажу ей строго – «в Господень лик плюешь, Боженька накажет!» А она, насмех чисто, в глаз попасть норовит. Да еще спориться принялась, чужие слова лопочет: «глупая ты, мамочка говолит, делевня ты!» Как ее воспитать? Стала ее стращать, а к ночи было:

«Вот Ангел-Хранитель отойдет от тебя, нечистый и унесет, с рогами!»

Она – кричать-биться, полог на кроватке изорвала.

Барыня на меня – «ты мне ее уродом сделаешь!» Заснет – я ее водицей святой и покроплю. А то какую манеру еще взяла: покрещу ее, зрячую, – она смеется:

«А вот и сказу завтра мамочке... крестила ты меня!»

Стало уж мне с ней страшно, – он у ж будто из ее ротика кричит. Стала она меня по щекам хлестать. Раз спустила, другой спустила, – она меня прыгалкой по глазу, залился глаз. Я ее по щекам и отхлестала, для острастки. Она к мамочке, с ревом, а та, дела не разобравши, да при ней на меня, с ключами!.. Так вся и исказилась:

«Ты, хамка... посмела лица коснуться!..»

«Погодите, – говорю, – скоро она и вас примется колотить».

Уж на что миса, англичанка, и та все глазами ужахалась, что Бога не хотят. А она в свою церкву ходила... и они тоже в Бога веруют... – и у ней над кроватью крест костяной висел, в веночке. Я им и на мису указывала, – глупей она вас, что ли? Тоже образованная, да еще англичанка.

И решила я отойти от них. Укладочку собрала, извозчика привела, а ни пачпорта, ни зажитого не отдают. А за ними сот за семь было. Не отдают и не отдают: «Катичка тебя отпускать не хочет». А та топочет, прыгает на меня, фартук на мне порвала, по полу кататься стала, ножками бить, – в мамашу. Барыня, бывало, с барином как повздорят, сейчас разуются – и в сени босиком, да зи-мой! Барин схватит ее в охапку и принесет, а она по полу начнет кататься. Из графина окатит – сразу и приведет в себя.

Ну, осталась я. И рада, привыкла к ним, – и обидно-то, будто и за человека не считают. Легла спать, а сердце не унимается. Плачу в подушку... – хорошая у меня подушка была, пуховая, на корабле пропала, из Крыма как мы поехали. Плачу и плачу, себя жалею. Барыня и входит, давай причитывать:

«Клянешь нас, жалованье не отдаем... лучшего места ищешь, на нас и выискиваешь! Ну, так бы и сказала, жалованья тебе мало...»

«Бога-то побойтесь, – говорю, – сердца я не уйму, а вы с грязью меня мешаете. Ну, семь моих сот за вами, не пропадут, знаю... а зачем над человеком мытарствуете! Всех жалеете, говорите... Не могу я глядеть на хавос ваш, родное дите губите...»

За голову она схватилась:

«Стыдно мне перед тобой, няничка... стыдно!..»

Упала ко мне на шею, трясется вся. Душа у ней добрая была, с семи годков ее знала. Ночь на дворе, метель, в трубе воеет, и барина нет дома. И образов-то нету, а она бьется, чисто темная сила ее ломает, – страшно мне с ней тут стало.

Покрестила ее украдкой – она и стихла.

«Виноваты мы перед тобой, няничка. Ты хорошая, а мы перед тобой... дрянь мы! И нет мне покою, и все-то ложь, и Костик меня обманывает...»

«Бога у вас нет, – говорю, – и покою нету. Худо у нас в доме, худо...» – все ей и выложила.

Так она и встрепенулась!..

«Чего ты каркаешь, чего худо?.. что ты думаешь, умрет кто у нас?..»

В Бога не верили, а такие-то опасливые, – судьбы боялись. За зерькала дрожали, как бы не треснуло. А я и посмеюсь: в Бога не верите, а зерькалу верите? Да ведь это Господь зерькалом во-лю свою указывает, зараньше. А барин страсть покойников не любил. Как завидит на улице – назад, Федору кричит, в объезд. А по-нашему, покойника встретить – всегда к добру. Ну, другое дело – свадьба... Все-то у них навыворот.

Да... так и встрепенулась:

«Скажи, что тебе чудится, какое худо? или сон видала?..»

«Образов у вас, – говорю, – нет в доме, у вас все может быть».

«Что – все? что ты меня пугаешь? про Катюньчика чего чувствуешь... что – худо?»

А я чего могу знать, не святая, в сам-деле. А чудится – будет и будет худо. Катичка и заболей скарлатиной. Чего-чего уж она не вытворяла!..

«Ты накаркала... ты все!..»

«Опомнитесь, барыня, – говорю. – Господь видит, как же я могу скарлатину сделать? Пригласите лучше Целителя-Пантелемона».

А Катичке хуже да хуже, хрипеть уж стала. Доктора ездили бессменно, а ей все хуже. Говорят – была скарлатина, а теперь и вовсе дифтерит стал, будьте готовы ко всему. Тут она и погнала меня к Пантелемону, привези. Монах и говорит, – дойдет вам черед дня через три, а куда помажьте болящую маслицем с мощей. Сказала барыне, а она кулачками затрясла: «вот, когда хочешь – тут и нет!» А я помолилась и помазала Катичку теплым маслицем, в украдку, и в глоточку капельку ей влила, – она и уснула, хорошо так. Поутру глядим – она уж и повеселела. А доктора и говорят, – теперь уж выздоровеет. Что ж вы думаете... не поверила, что с маслица это! Это, мол, от нового лекарства, профессор дал. Так Целителю-Пантелемону и отказали.

Так вот и росла Катичка. А умненькая была, такая-то дотошная, все мои песенки умела, гостям пела. А я их много знала. В деревне как сиротой осталась, меня в богатый двор взяли, дитю качать. А у них баушка была, такая-то мастерица сказки сказывать, всего-то-всего умела... с волости за ней приезжали даже. От нее и я наслушалась-набралась. Катичке я даже и певала, уж большая она стала, на театры когда училась. Может, за то и любит. То я ей глупая, дурей нет, а то... – «умней тебя, нянь, нет!» – это уж как разнежится. Василисой Премудрой назовет... Такая умненькая была, – юла-огонь. И в имназии хорошо училась, лист ей с орлами дали. Пятнадцати годков кончила, – хочу и хочу в театры, в наактрисы! Тут и пошла наша маета. Война пришла, а у нас в доме своя война. Вы тогда в загранице были, долго вас оттоле не выпускали, приехали уж когда царя сместили... Мы тогда барина в Крым повезли, а барыню ране того свезли. А вот, я вам по порядку уж...

Х

Стала Катичка на театры учиться, и пошел у нас дым коромыслом. И барыня в это дело пустилась. Пошли разные к нам ходить, ватагами, наговаривают и наговаривают, бо-знять чего. А то еще в стихи читали, да в голос, чисто по упокойнику. И всех корми. А прожо-ры-ы!.. Один все себя в грудь бил, кричал все – «хочу помереть! дайте мне яду сладкого!» – а барин... надоели они ему, – насмех ему: «а хотите помереть, ступайте на войну лучше!» Ну, чистая волконалия. Барин все так, бывало:

«Волконалия у нас стала!..» – шум его беспокоить стал.

Да жадные все, голодные... – со стола так и не убрали, чисто трактир у нас. С утра до ночи так и короводились, все наговаривали, чего на театрах вот представляют. А Катичка первая верховодка, такая-то блажная стала, умного слова не скажи. И еще с простынями танцевали, на цыпочках ходили, руками поводили, мода такая завелась... почесть что голые! И барыня туда же, с простынями. Ну, страм и страм. Да какие все самовольные, по комнатам шнырят, чисто родня приехала. Так за ними все и ходили, куда пойдут. Полдюжины столовых ложек серебряных у нас пропало, так и не доискались. Да колечко еще у Катички с умывальника смылось – всякого народу было. С гитарой один ходил, чистый ломовик, все выпимши, глупые песни пел, да про альхерея... все припевал – «горчишник я ширлатан!» – а те гогочут. В ванной я его и захватила, голову мочил... колечко-то и примочил. А как скажешь, – друзья-приятели! Ни время, ни порядку, – постоянный и постоянный двор. И кого-кого только не было... И цыганы ходили, и эти вот... пестрые кофты, разные рукава, самые-то оторвы. С ножом один ходил, в башлыке, зубами на меня щелкал, – баушка ему стала! Ну, мамай и мамай пошел. Да что... подушки со всего дома на ковры навалют, шалями пестрыми накроют и ломаются. Разуются все, и молодчики, и девчонки... на головах дутые винограды с елки, и розаны, на образа-то вот продают... все в простынях, плечи голые, ноги голые, страмота... и вино из кувшинов пьют, и все-то наговаривают, и все-то кричат – «мы боги! мы боги!..» – сущая правда, барыня. Уж на головах пошли. Уж это всегда перед бедой так, чуметь начинают... – большевики вот и объявились. Да я понимаю, барыня... не с пляски они, большевики... а – к тому и шло, душа-то уж разболталась, ни туда ни сюда... а так, по ветру. Уж к тому и шло. А дурак тот, с гитарой, так обнагле-эл... – закрыл Катичку простыней и обнял, совсем охальник. Барин как увидал, – за руку его в прихожую вывел да в ше-ю... и гитара его по лестнице зазвонила. Скажу барыне – кабак у нас, чему Катичка учится? А она все свое:

«Не лезь не в свое дело, глупая... не понимаешь ты, это иску-ста!..»

И только у всех и разговору – искусства-искусна, искусна-искуста... – а толку никакого, одни только неприятности.

А жизнь пошла беспокойная, военная. Барина тоже на войну забрали... ну, из уважения оставили, лазареты наблюдать. Барыня словно хлопотала, – из уважения ей и сделали, каждого могла заговорить.

И мундир ему выдали, и саблю. Он сейчас пациенток порастрес, – хороший у нас на дворе лазарет открыли, на сорок человек. И барыне занятие, раненых

солдатики навещать. Правду сказать – старались. Как первую партию привезли... а у нас актерщики были, и читатели, в стихи читали... высыпали глядеть. А солдатики грязные, повязки в крови, запекши... молодчики наши папиросок им, бутерброты, нахваливают... за нашу Россию стараются... очень соболезновали. Еще один, помню, все добивался – «а страшно умирать, а?..» А солдатик, вежливый такой, – «страшно – нестрашно, – говорит, – а требуется!» – полон рот калачом набил, не проворотить. Барин, первое время, и дома не бывал, перекусит – и до ночи его не видим, на прием только приезжал, забота была большая. И денег нам тут посыпалось. Докторов на войну забрали, – ну, барина прямо на разрыв. Другую горничную еще взяли, для гостей, да девчонку еще наняли, у телефона записывать. Никогда столько пациентов не было. Да Катичкина еще орава, – ну, непротолченная труба всякого народу стала. И откуда только бралось! Столько на войну забирают, а у нас все молодчики, не убывают, а прибывают. И наговаривают, и начитывают, и скачут, и пляшут, и друг с дружкой в обнимку жмутся и крутятся, страмота, – чисто все посбесились. Театральщики, уж известно, какой народ... все будто понарошку им, представляют и представляют. Правда, для раненых старались-утешали, по лазаретам ездили представлять, а у нас все и наговаривали. Катичка помостки велела в зале поставить, и рояль туда подняли, и картинки там красили, представлять. Скажешь барыне:

«Никаких денег у нас не хватит ораву такую кормить, – колбасы по пять фунтов на закуску, сыру, телятины что... белых хлебов десятка по три, сахару не напасешься, – тыщи на месяц мало. Да диви бы на пользу шло!..»

А она, высуня язык, только отмахивается:

«Война, всем надо помогать... надоела, не твое дело!»

Не мое-то не мое, а... Ну, мне уж под две тыщи задолжали, про себя не говорю, а лавошнику Головкову сколько должны, а он деликатный, только пошутит мне:

«Попомните доктору, Дарья Степановна... мы тоже и сахарок, и колбаску, и все прочее-иное и другое покупаем-с, а не от Ильи-пророка по знакомству получаем-с!»

Дадут ему сотню-другую – опять давай. Давал. Прознал, что барин на войну может посылать, а у него сына забрали, в вошпитале лежал, будто у него глаз

не глядит, – ну, и старался барину услужить. А барин строгий был, никому поблажки от него не было, по закону очень. Ну, и забрал сына. Да еще серчал на Головкова, что за царя приверженный. И вот какой богомольный, Головков-то... хироносец был! А такой, хируги за крестным ходом всегда носил, почтенный очень, собственный дом. Он за царя стоял, а барин и слышать не хотел – долой и долой. Они с барыней секрет знали – только царя долой, все новое пойдет, хорошее, им известно. Ну, не внял, послал на войну сына. А Головков в полицию донес: у доктора какие молодцы пляшут, а на войну их не посылают. Это с досады он. Дознавали, как же: по закону гуляют, от войны, – все калеки, по белому билету. Он тогда на нас к мировому подал, за долги. Это когда и судов уж сурьезных не было, а барин заболели... нам в Крым бумага приходила, приносил с красной лентой какой-то, не гордовой, а другой... говорил барину – теперь можете не платить, когда еще вас разыщут, а теперь все похерено. А сколько-то много Головков на нас насчитал. Так нас и не достали, а платить уж нам нечем стало, сами жили из милости у доктора одного. А у Головкова супруга Авдотья Васильевна, желанная такая... вот где это Дунай-река-то... Ну, как угодно, не буду отбиваться. А уж такое дело вышло, уж так я горевала... Ну, как угодно, а то и вправду, запутаюсь.

XI

Да вот, представлять они стали... Катичка тут всех и покорила, так за ней и ходили табунами. Помните ее, барыня, – не такая она уж и красавица чтобы писаная, да еще и в себя не вошла, как следует... что ей – шестнадцатый только годок шел... и росточку была еще не полного, а телом еще не обошлась, цветочек еще, бутончик. Теперь бы и не узнали ее, какая авантажная стала, самостоятельная, и манеры теперь у ней, даром что тонкая-растонкая, а... на всех производит! В Америке она голодом себя морила и на палках крутилась, чтобы потощать... так уж там полагается, а то и денег платить не станут. А и тогда складненькая была, акуратенькая такая, куколка и куколка. А глазки у ней и мамашины, и папашины, черные, громадные, живые такие... Барин все ее так – «ах, черные миндали, зажигают издали!» – пел все. Барин у ней взгляд был, смелый. У цариц вот такие глаза бывают, гордые. А волосы темные, густые, папенькины, – «каштанчики мои», – все, бывало, так звал. А личиком беленькая-разбеленькая, сквозная вся.

Уж барин ее нахваливал! души не чаял, – «фарфорочка моя, варкизочка ты моя!» – все так. А может, и маркизочка... забыла уж. И что такое?.. ну, каждого мужчину приворожит! Все-то в нее влюблялись. И чем только завлекала, я уж и не знаю. Еще совсем девочкой была, а знала, что глазки у ней красивые. И тогда уж глазками поводила-красовалась. А папенька ей все-то набивал: «ох, глаза... будешь ты погубительница сердешная!» Ну, она и приучилась заводить. Так вот головкой чуть повернет, глазками поведет... – откуда набралась! А то пройдетя, так вся и изгибается, очень гарциозная. Прибежит ко мне, вытаращится:

«Правда, нянюк, особые у меня глаза, а?»

Посмеюсь-скажу:

«У кого какие, а у тебя такие».

А захвалили. Все-то ей про глаза ее, что вот какие... Да не умею сказать-то, как говорили... нет, не выразительные, а истомные, что ли?.. По-нашему сказать – с поволокою глаза, будто вот через что глядят, чисто вот обмирает, как тень на них. Один к нам ходил, актерщик... вот не любила беса!.. – тогда еще все внушал – «у вас глаза женщины!» Развалится на креслах, ножичком ногти точит, и все так, непристойно, – «же-нщина вы, малютка!..» А наши, умные, слушают. Поведет так, закатит, – будто она спросонков. И выучилась перед зеркалом вертеться. Особо плохого тут нет, покрасоваться-то... а к тому говорю, что уж очень собой-то занималась. И мамашенька ей пример давала. На что уж со мной, и то – уставица на меня, как на пустое место, словно вот через тень глядится.

«Ну, чего пялишься-то как нескладно, – скажу, – чисто ты пьяная!»

И все-то в головку набивали: «мы тебя за заморского принца выдадим!» И нагадали: повидали мы их, заморских. И стали в нее, барыня, влюбляться. Конфетами завалили, вот какие коробки!.. и шелковые, и плюшевые, и цветы шлют, и корзинами, и так, некуда ставить, сад у нас прямо стал. Богачи стали наезжать, на своих лошадях, на автомобилях, на высоких колесах – беговой богач был... приличный народ, солидный. И шушеры много было, а и дилехтора бывали, и генералы... – мед-то как завелся, так вокруг и закружились. И смех, и грех. Повадился старичок к нам, военный доктор, начальник баринов, только он генерал. Стал все цветы возить. Лет, пожалуй, за шестьдесят было, сухенький только был и шустрый, и бородку брил, а под глазами-то наплыло, не

закрасишь... видно, что битая посуда. И рот у него кривой был, раздерганный. А живой, ножкой об ножку терся. И холостой. Та его и закружила, насмех. И печенье ему выберет, скажет – «вот, любимое мое!» А он ей тоже – «теперь и мое любимое!», и цветочек в петельку ему, и духами попрыскает, илиотропом, любимыми... Он возьми и посватайся, одурел! Так все и обомлели, – начальник баринов. А она и глазом не моргнула: «дайте подумаю... я ведь совсем ребенок!» Так он и засиял! И сгубила старого человека: посылал-посылал цветы, да и простудился, помер, – у училища все дежурил, где театрам-то обучали. И еще князь ее провожал, тоже немолодой, а со шпорами ходил, высокий попечитель был... из училища ее привозил и письма ей все писал, по-французски. И она ему писала, для прахтики. Писем у ней было... полна шкатулка. А духов было... как в магазине, обливаться можно. Как в ванную лезть, цельную бутылку вошьет, кожу щипет... голова кружится, не войдешь. Барин, бывало, – «дай-к а, Катюнь, даров душистых, а то все вышли!» Меня душила... Приду к себе спать ложиться, – не продохнешь, все подушки позалиты. В церкву придешь, дух такой от меня, людей стыдно, – платье мне обливала.

Ну, все влюблялись. А молодые – так, высуня язык, и ходили, как опоенные. Чего ж один изгораздился для нее... Велела она ему из зоологического сада живую лисицу ей принести. Он за сурьез принял да и попадись: ночью клетку лисицыну продрал и потащил лисицу, – она ему все лицо ободрала. На месяц в «Титы» попал, а про Катичку не сказал. Она ему цветов послала для утешения. Так уж все баловали – она и иссвоевольничалась, все-то ей нипочем, воображать стала из себя. А барыня не нарадуется. Меня уж и в грош не ставила, только и слышишь: «заткнись, старая улитка!» – истинный Бог. Спать ложиться, – ну, вертеться перед трюмой да охорашиваться, даже и рубашонку снимет. Оправляю постельку ей... – шелковая, царская постелька у ней была, белая вся, ангельская постелька, – смотрю-смотрю на нее, ну так неприятно станет. Она уж и так, и так, и головкой, и плечиками, и... Да еще меня допытывает:

«А что, нянь...» – это когда в духе, ласково всегда – нянь, звала, а то все – нянька! а то еще выдумала – ня-нища! – «А что, нянь... красавица я, а? лучше меня нет?»

Насмех и скажу – попова дочь лучше. Шуткишутки, а так погибель и начинается. Оглаживать себя примется, по бочкам, и так и сяк извертываться, – издивисься, откудова набралась повадкам! Плюну-скажу:

«Страмница ты, бесстыдница... ну, пристало ли девушке так себя красовать! на рынок, что ли, себя готовишь? Девушка скромностью красуется, а ты как солдат расхлестанный».

И ласкова бывала со мной, так и обовьется, и в глаза зацелует, и на лицо мне дует... ну, такая умильная. Она меня и теперь любит, все мои мысли знает. Только, понятно, стесняла я ее. Она мне тут шляпку носить велела, а мне стыд, будто я пугала какая, голова непривычная, не я и не я... И вот тальма со стеклярусском у меня, Авдотья Васильевна подарила, износу нет, – так ей она не нравилась: страмлю я ее, допотопная я, старинный дух. Нет, любит она меня, горой за меня. С итальянцем схватилась раз, расскажу-то...

Прибежит в темненькую ко мне, как мне спать ложиться, за шею обнимет и ну целовать. Заерзает-заерзает у меня, прижмется комочком... – «Скажи, нянь... буду я счастлива, буду я любима, буду я богата?..»

И глазки заведет в потолок, будто чего там видит. Я и скажу:

«Ах, Катюньчик... и любима будешь, и богата... а вот счастлива ли будешь – это уж как Бог даст».

Затискается-заерзает, словно ей невтерпеж:

«Ах!..» – вздохнет. А я и пошучу-поразвлеку:

«Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко, а хоть за курицу, да на свою улицу!»

Она так вся и воссияет!

«Да как ты хорошо-складно! Да скажи еще... да какая ты му-драя... Василиса ты Премудрая!..» – И затуманится вся, зажмурится... – «Ах, хочу быть счастливой, хочу-хочу, нянюк... большого счастья хочу!..»

А выпало-то вон что. Счастье... да какое же это счастье, барыня... что крутимся-то так, партреты ее печатают? Душеньку ведь ее я знаю, покою у ней нет... и себя, и других измучила. А уж про себя-то сказать... – не глядела бы ни на что. К чужому-то свое не прирастает. На солнышко гляжу, – и солнышко-то не наше

словно, и погода не наша, и... Ворона наемдни, гляжу, на суку сидит, каркает... – совсем, будто, наша ворона, тульская!.. Поглядела, – не та ворона, не наша... у нас в платочке.

Ну, хорошо. И будоражная тогда у нас жизнь пошла, хавос и хавос. Война такая, некрутов гонят, раненых везут и везут, конца не видно, и по улицам на костылях все, да партиями, у всех горе кругом такое... того забрали, того покалечило, того убили... у Авдотьи Васильевны братца убили, и крестника моего ранило, рука повисла, – рыбкой который торговал... А у нас чисто балаган-пир: и гости, без исходу, и музыка у нас каждый вечер, и представлять подучаются, и... – так с утра до ночи и кружили. Из нашего лазарета солдатиков поглядеть пускали, а то и угостим. Меня-то они шибко уважали, доверялись... Ну и скажут, бывало:

«Кому горе, кому смех. Господа все войну затеяли, для удовольствия... ишь, какие все жеребцы-то у вас жируют, а воевать не идут».

Это как к концу стало, а то все были деликатные. Мы им и винца для здоровья подносили, барин нам доставал... – и пироги им пекли на праздники, – так-то довольны были!..

И отыскала барыня в лазарете где-то полковника... такого-то орла-красавца, в крестах весь, – ходила она за ними. У ней и косыночка была – милосердая сестрица. Стал он к нам бывать, по виску черная обвязочка. Так об нем барыня пеклась, такое ему уважение у нас было... – он и влюбись в Катичку. А у него трясение мозгов было, с пушек, – он и помешался от любви. Придет и сидит. И Катичка, примечала я, задумываться стала. Уж все разъедутся, а он сидит и сидит, в усы себе глядит. Да Катичке вдруг и скажет, чисто вот на образ молится:

«Голубой вы ангел! Вы сошли с неба!..» – и руки к ней, вот так вот.

А она губки кусает, так жалко ей. Мука была смотреть. А то раз и заплакала, убежала. А он и перекрестился вслед ей! Насварение мозгов уж у него стало. Ну, намекать мы ему – лучше бы не ходить. И барыня все расстроена, и Катичка какая-то такая, ждет все, когда придет... а сидеть мука с ним, с полоумным, и жалко-то его... Он и не стал ходить, понял словно. Три дни не был, нам из вошпиталья звонят: где полковник, почему не является. Поехала барыня, а там и говорят: поглядите вон, обмерзлого сейчас нашли за заставой, в снегу сидел.

Ногу ему и отпилили. Так мы его жалели, плакала даже Катичка. Да, забыла я... сказал-то чего он раз: «Голубой ангел! Зачем вы сошли к нам с неба?.. Кро-ви сколько!..» – и за голову схватился.

Не раз Катичка про это поминала, как всего уж мы повидали, намучились и сколько всяких смертей видали, горя человеческого... Вот вам, и помешался, а правду чувствовал, прознавал.

И вот тут у нас и случилось...

XII

Был у нас вечер, для солдатиков из нашего лазарета представляли. И чего ж Катичка со своими короводчиками надумала. Иван-Крестителя в колодце представляли! Его будто в темницу Ирод-царь посадил, в колодец, а Катичка царицу-поганку представляла, как она царя завлекала, чуть что не голая плясала, все у Ирода добивалась: отруби ему голову, за любовь! Страшно, барыня, глядеть было, – над святым прямо издевались, да еще и под музыку. И клюквы надавили, похоже чтобы на кровь было, как ей святую главу на серебряном блюде подали. Мы с Аксюшей, и еще набралось со двора народу, глядим из прихожей, – да чего ж это такой делают-то, а?! да как так попускают!.. Пришел черный, громадный, с косарем, по самое пузо голый, и несет ей главу на блюде, из глины они слепили, и кровь будто с блюда капает, прямо Катичке на кисейку, и голую ее ногу видно. Стала она на главу глядеть, хохотать... – стук!.. – позади меня об пол что-то. Я так и вздрогнула. А это иконка из уголка упала, в прихожей которая висела, от жильцов осталась. Надвое и раскололась! Не сказала я своим, что их расстраивать, знаю – к худу. И Аксюша тоже – «ой, нехорошо как, к упокойнику!» Связала потом иконку, повесила. Лица на ней уж не видно было, старенькая, а словно Никола-Угодник-батюшка, по облику. И со двора которые были, стали уходить, – «ишь, – говорят, – как нехорошо!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/shmelev_ivan/nyanya-iz-moskvy

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)